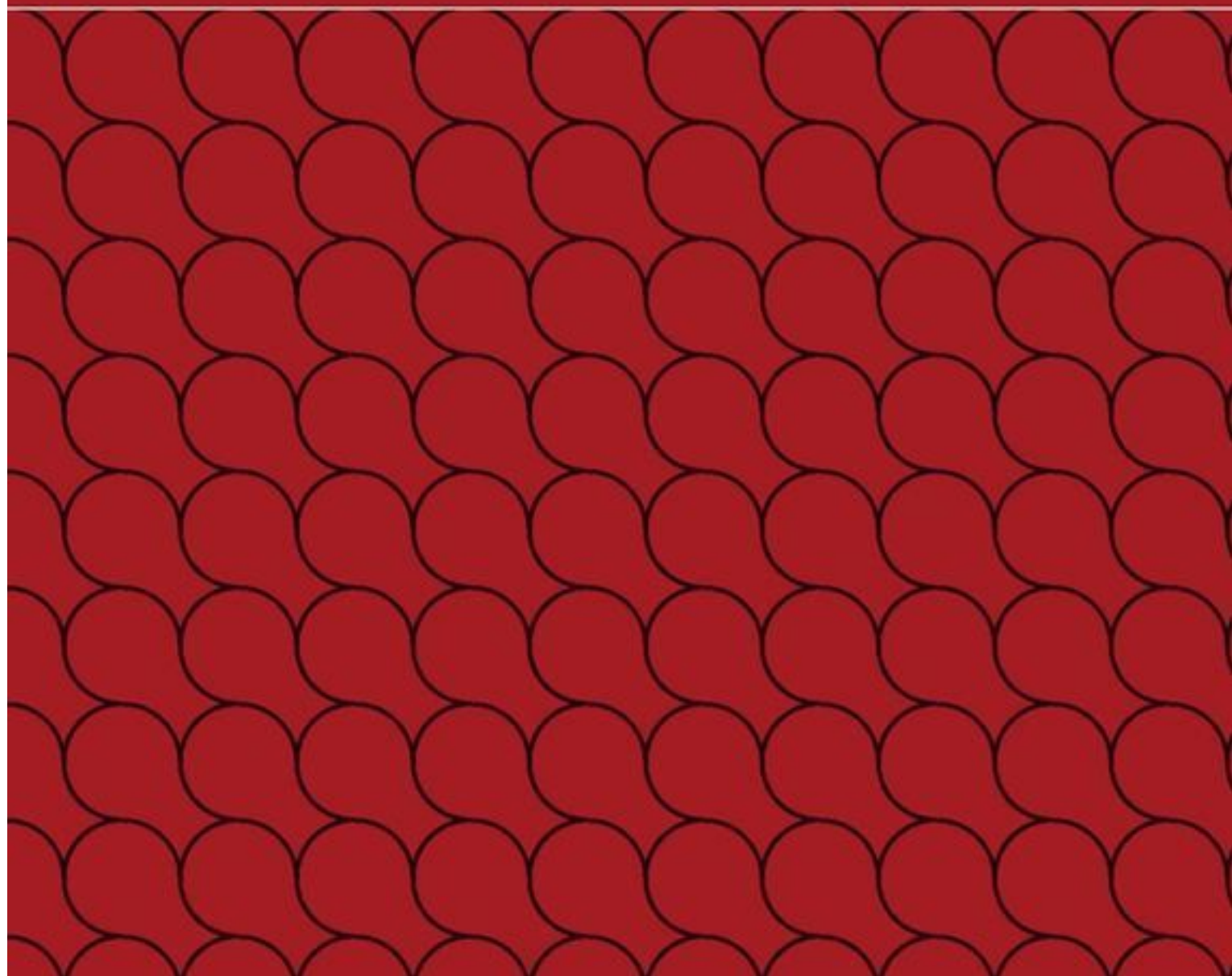


Алексей Ивин

*Студенческие
рассказы*



Алексей Ивин

Студенческие рассказы

«Издательские решения»

Ивин А.

Студенческие рассказы / А. Ивин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-742512-8

«Студенческие рассказы» написаны давно, в 1972—1980-х годах, однако опубликованы были только два из них — в московском журнале «Наша улица». Собранные вместе, рассказы отражают быт и настроения студенчества тех лет. В этом цикле действуют преимущественно одни и те же персонажи.

ISBN 978-5-44-742512-8

© Ивин А.

© Издательские решения

Содержание

Естественный отбор	6
Студенческие проводы	13
Крапивное семя	21
Скандальное происшествие в логатовском парке	26
Подмастерье и ученица	31
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Студенческие рассказы

Алексей Ивин

© Алексей Ивин, 2018

ISBN 978-5-4474-2512-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Естественный отбор

Хотя наш рассказ и носит столь научное название, речь о Чарльзе Дарвине, его теории и его преемниках не пойдет. Речь пойдет о студенте первого курса биологического факультета Логатовского педагогического института Семене Подольском, о том позоре, которым он покрыл себя навеки, и о житейском экзамене, на котором с треском провалился.

Итак, вышеозначенный первокурсник Семен Подольский сидел в общежитии у распахнутого окна у себя в комнате и взирал на улицу. Был вечер, не блиставший красками; спускались сумерки.

Подольский кисло подумал, не сесть ли за стол и не зарисовать ли с натуры широкими, щедрыми мазками открывавшуюся панораму с высокой, слабо дымившейся заводской трубой, которую можно было, творчески переосмыслив, изобразить вечнозеленым деревом, а прямоугольные дома – дикорастущими кустами; и назвать картину, например, так: «Закатное светило бросает свой последний луч». Но от природы ленивый, как сто мулов, вместе взятых, Подольский даже не шелохнулся, меланхолично поплеывая вниз шелухой. Увы! Именно так и угасают в нас, не родившись, творческие порывы.

За окнами не происходило ничего замечательного, внутри комнаты – и того меньше, поэтому, с легкой одурью в голове от непрерывного лузганья семечек, душевно вялый, Подольский прошелся из угла в угол, позевывая от скуки, и решил навестить соседок – комнату №17, где жили девушки с физико-математического факультета. К ним он наведывался часто и запросто, чтобы поболтать, а хохотунья и насмешница Таня Боровская ему даже определенно нравилась – первое робкое чувство восемнадцатилетнего юноши. Таня, которая была на четыре года старше его и, пожалуй, умнее, всерьез его не воспринимала, потешалась над его неопытным чувством, и тем насмешливее, чем настойчивее он к ней «лип»; зато Ира Перепелкина, чудаковатая особа в очках, жеманница и кокетка, к которой он был совершенно равнодушен, в свою очередь проявляла почти собачью привязанность к нему, уводила его в коридорные тупики и закутки, где было потемнее, лепетала всякий вздор и ждала, когда же он осмелится ее поцеловать (губы у нее были полные, а глаза, даже и за стеклами очков, красивые – миндалевидные, с густыми длинными ресницами). И то и другое (и то, что он к а к б у д т о любит, и то, что к нему самому равнодушен) было внове для Подольского, и, следовательно, в семнадцатую комнату его тянуло неспроста. Даже если ни Тани, ни Иры там не окажется, можно очень мило позубоскалить о том о сем с Наташей Волковой, щуплой и невзрачной, но добросердечной девушкой, которая исполняла роль арбитра в запутанных отношениях Подольского с семнадцатой комнатой...

Постучавшись и войдя, он, к удивлению, увидел, что все в сборе, что накрыт и уставлен закусками стол, а за столом сидят какие-то незнакомые парни – очевидно, городские.

Он смекнул, что отмечается чей-то день рождения, на который его почему-то не пригласили (вероятно, потому что и парней тоже было трое, из чего следовало, что он был бы лишним). Надо сказать, что наш юный герой был человеком очень наивным; он лишь удивился непостоянству девушек, которые обычно столь ласково его привечали, но что следует извиниться и ретироваться – об этом он даже не подумал; напротив, сдержанное вежливое приглашение к столу принял всерьез и немедленно им воспользовался. Девушки представили его

парням, которые были уже сильно навеселе, но обменяться с ними рукопожатиями он тоже не счел нужным: от застенчивости.

Сперва все шло благопристойно. От предложенной водки Подольский отказался (опять-таки неблагоприятно, как впоследствии оказалось, потому что тем самым восстановил парней против себя); но иначе он не мог: водка его не веселила, а угнетала. Сидя скромненько за краешком стола, он поглощал вафли, печенье, пил лимонад и думал, что вскоре все, не исключая и девушек, будут напоминать козачков, напавших на винный погреб жида. Пьяная расторможенная беседа, прерванная его приходом, продолжилась.

Поскольку пир как таковой описан всеми от Гомера до Куприна и нынешних сочинителей, то вряд ли нужно подробно растолковывать, какие произносились тосты, что было на пиршественном столе, в чем щеголяли пирующие, как разгорались страсти, блуждали глаза, пылали щеки и заплетались языки. Скажу лишь, что как раз в тот момент, когда Подольский насытился и поднялся из-за стола, вместе с ним поднялся и Мишка Шальнов, известный всему Логатову, кроме Подольского, как «шпана» и «мордovorot». После всего, за тем происшедшего, Мишка Шальнов воспринимался чувствительным Подольским чуть ли не как воплощение мирового зла; и если бы ему самому пришлось описывать Мишкину внешность, он прибег бы к шаржированной гиперболической экспрессии, которая, разумеется, исказила бы объективную действительность, но зато уж была бы эмоциональна и оценочна. Он написал бы, что лицо Мишки было обширно, как крестьянское блюдо; его кожа напоминала чешую копченой трески; его глаза зауживались щелевидными амбразами; его скулы были словно у буйвола; его нос распух, точно у многократно битого боксера; его рот источал болотные миазмы; его прическа повторяла шевелюру питекантропа; его шее недоставало хомута; его руки равнялись с дубинами; в его глазах стыло тупое, угрюмое и бессмысленное выражение собаки, которую ради хохмы допьяна напоили.

Итак, этот монстр, а в сущности – объективный Мишка Шальнов, нетвердо ступая, подошел к Подольскому, на которого тотчас повеяло многодневным перегаром, и хрипло попросил сигарету.

– Выйдем покурим в коридор, – сказал он вполне миролюбиво, и простодушный Подольский, решив, что с ним хотя бы познакомиться поближе, охотно согласился.

Они вышли – впереди Мишка, за ним Подольский. Однако не успел Подольский притворить за собою дверь, как Мишка с размаху ударил его по лицу. Подольский ощутил тупую боль и влетел обратно в комнату задом, растянувшись посреди нее. В первое мгновение он не мог даже понять, что с ним случилось; потом дико обозлился, так что казалось, будто его нельзя ничем обуздать, рванулся на обидчика, но сзади, словно рой докучливых мух, налетели девушки, удерживая и уговаривая его. Кровь сочилась из разбитого носа, и с каждой его каплей вытекала из Подольского решимость драться. Ему был нанесен тот самый упреждающий удар, за которым неизбежно следует моральная капитуляция. Во-первых, интеллигентный хлюпик, он опешил от неожиданности; во-вторых, подумал вдруг, что, если ввяжется в драку, ему одному придется иметь дело с троими; в-третьих, будет небезопасно появляться в городе, потому что в каком-нибудь тихом переулке его поймают и... Картина ясная: могут забить до смерти. А надо сказать, что наш герой до поступления в институт в городе ни разу не был и теперь чувствовал себя в нем и неуверенно, и неудобно. Его взгляд кипел злобой, а в голове, точно в шкатулке с безделушками, искалась одна-единственная пуговица от лифчика: как бы проучить врага, не прибегая к ответным действиям? Мишка гнилостно и само-

довольно ухмылялся, а Подольский с ужасом понимал, что не сумеет дать достойный отпор: срабатывали некие защитные механизмы самоспасения. Ибо он рос тихоней и никогда еще не бил никого; ни одного расквашенного носа или фонаря под глазом не было на его счету; да он и не подозревал, что такое с ним случится. Чтобы хоть перед девушками-то не осрамиться, напоказ он рвался в бой, но не слишком в этом усердствовал, благоразумно позволяя себя удерживать.

Вечер был испорчен. Начался переполох. Эти трое, незванные гости, бродили, почесывали кулаки. На шум сбежались парни из соседних комнат. Возникли словопрения. Явственно запахло порохом.

Подольского увели в туалет, где он омыл обгаренные собственной кровью руки и остановил кровотечение из носа. Тяжело было у него на душе. Он не верил в свои силы, чувствовал, что ошеломлен и побежден и что досталось ему поделом: зачем залез в чужую компанию... Он считал себя теперь навек опозоренным трусом; в воображении он разжигал ненависть к сопернику; в воображении он хотел бы дать ему такую затрещину, после которой тот отправился бы напрямик в потусторонний мир.... Как отрадно было представлять врага, разбитого и растерзанного, в луже собственной крови! Однако, против своих воображенных желаний, он не пошел искать Мишку, а в пакостнейшем настроении вернулся в комнату и улегся на кровать, прикрыв разрушенный орган обоняния носовым платком. В комнату впорхнула Ира Перепелкина и звонким участливым щебетаньем выразила свое глубокое соболезнование. Присутствие ее, живой свидетельницы его несмываемого позора, тяготило Подольского, но он безропотно принимал ее услуги и компрессы, притворяясь больным, страждущим и недееспособным в большей степени, чем следовало. Он хотел теперь лишь одного – чтобы его оставили в покое, но оказалось, что это невозможно: к нему ввалились негодующие товарищи, сокурсники и приятели, и потребовали, чтобы он расквитался с обидчиком: что ни говори, городские парни обнаглели – затронули честь института.

– Ты не трусь! В случае чего мы тебе поможем...

Ох, как не хотелось снова ввязываться в драку, из которой он уже вышел побежденным. Проклятые законы чести! Они обязывают даже слабака и паникера постоять за себя, хотя ему легче было бы стерпеть, проглотить обиду, как горькое лекарство. С неохотой, в душевном смятении Подольский поднялся с кровати и поплелся за приятелями – на очную ставку.

В дальнем темном конце коридора Подольский увидел и Мишку, и его приятелей, глазомерно, но без страха оценил его сжатые увесистые рабочие кулаки. Все трое недружелюбно молчали и, казалось, внутренне готовились к заварухе, спровоцированной ими же.

Толпа, во главе которой понуро шествовал наш герой (или антигерой?), приблизилась. Определенно, действующие лица напоминали персонажей мелодрамы в ее кульминационной сцене. Недоставало только бесов, которые, злорадствуя и хихикая, кружились бы над головами собравшихся, бесов, которые, как известно, любят всякого рода конфликты и недоразумения.

Все дело заключалось в том, что Подольскому не хотелось драться: драка, по его интеллигентному мнению мечтательного сельского мальчика, была слишком грубым средством выяснять отношения между людьми, но его подталкивали к ней, и уклониться было невозможно. Мишка и он – они были людьми прямо противоположной закваски: грубая физическая сила –

и еще мальчишеский, меланхоличный, чуждый всякого насилия ум. Так что друзья напрасно подталкивали его и ждали от него действий не мальчика, но мужа.

И вот, прислонясь к стенке, они принялись выяснять отношения, а прочие враждебно молчали и заинтересованно, как на бесплатном спектакле, ждали, чем все это кончится. Подольский вдруг охладел и говорил громко и отчетливо, но равнодушно; ни страха, ни каких-либо опасений у него не было, но не было и необходимого ожесточения – лишь равнодушие ко всему случившемуся. Ибо он простил всех, кто оскорблял его прежде и теперь, всех, кто оскорбит в дальнейшем: всего зла все равно не искоренить. И дело было даже не в этом; просто грубая сила вправе доказывать свое превосходство кулаками, Подольский же, несмотря на юные года, избрал для самоутверждения другое оружие – ум, познавательные способности.

– Извиняться передо мной ты, конечно, не станешь? – спросил он.

– Это видел? – Мишка поднес рабочий кулак к носу Подольского.

– Дурак ты, – холодно сказал Подольский, спокойно отводя кулак. – Закомплексованный дурак.

– Ты у меня еще заработаешь, понял? – возразил Мишка. – Я таких салаг в гробу видел и в белых тапочках.

– Тебе лучше здесь больше не появляться: в больнице для буйных твое место.

– Где хочу, там и появляюсь – не твое свинячье дело, – заключил Мишка.

На том и порешили. Надменно усмехаясь, Мишка удалился, а за ним и вся его разочарованная свита. Приверженцы Подольского тоже покинули его, не довольные его малодушием.

Минуло два дня. Они снова появились в общежитии и намеренно стали слоняться по коридору. Их было только двое: Мишка и его ближайший друг Гошка Евланов, отчаянный скуластый пятнадцатилетний мальчик. Подольский, едва слышал о них, малодушно заперся в комнате и с сердечным замиранием прислушался, что они делают в коридоре. По грубым голосам и неровной шаркающей походке он догадался, что они снова пьяны и что, конечно же, пришли не с благими намерениями. Он слышал, как они подошли к его двери и, не постучав, рванули ее; но дверь была заперта и они, постояв, удалились.

Прошел час, два. Подольский осмелился выйти: можно опасаться новой встречи с грубой силой и нового поражения, но существует и такая вещь как самоуважение. В одной из комнат он сыграл партию в шахматы, выпил чашку чая и отправился было на ночлег, но в фойе увидел картину, заставившую его остановиться.

Мишка стоял один-одинешенек, окруженный толпой агрессивно настроенных и любопытствующих общежитских парней. В кругу, кроме него, стоял известный по общежитию весельчак и бабник Кирюха Савельев с разбитым и окровавленным ликом. Подольский смекнул, что Мишка опять развязал кулачный бой и что на сей раз ему придется туго, ибо Кирюха был не из тех мягкотелых хлюпиков, которые прощают обиды; потасовка непременно должна была увенчаться выносом обезображенного тела на улицу на растерзание милиции. Покуда единоборцы только эмоционально переругивались, но по накалу страстей можно было судить

о неизбежной схватке. И действительно: Мишка вдруг неуправляемо, как носорог, ринулся на Кирюху, но тот увернулся; Мишка рассвирепел и, пока разворачивался, как шкаф на крутой лестнице, получил ощутительный удар в скулу и прилип к стене. Отклеился, преодолевая удары толстым лицом и обильно обливаясь кровью. Соперники походили на кулачных бойцов времен Ивана IУ; их носы кровоточили, губы распухли, скулы покрылись ссадинами, глаза сливели, а белоснежные клавиши зубов разрезились черными; их одежды обагрились кровью, их разумы помутились, их десницы и шуйцы увлеченно дробили зубы и выворачивали скулы, их власы были повыдраны. Все напряженно следили за поединком, как римские патриции за гладиаторской схваткой. И когда, наконец, Мишка, поверженный, восприняв последний удар по обонятельному органу, уже ничего не мог предпринять, а только осовело, как осенняя застекольная муха, прикладывал руку к распухшему носу и размазывал кровь, – его взяли под мышки, выбросили за дверь, заперли ее и разошлись, потолковав о происшедшем и одобрительно похлопав победителя по плечу.

Омраченный духом, Подольский долго не мог уснуть. Его снедал стыд, что не он расправился с Мишкой, а ему показали, как это делается. Действительно, надо быть жалким человеком, чтобы, следуя евангельскому учению, подставить вторую щеку, когда тебя ударили по одной; а он, презренный, так и поступил. Он не оправдывал себя, но был подавлен, раздосадован: чувствовал, что его презирают за слабохарактерность. Он предугадывал, что Мишка не простит сегодняшнего избиения и на днях нагрянет сюда с шайкой отъявленных негодяев. Общежитие было старое, деревянное, вахтерами не охранялось, а комендант, пьющая баба, своими обязанностями не занималась. Рассудив не выходить в город по вечерам, Подольский заснул затонувшим, как в приснопамятные варварские времена хорошенькая девственница, которую завтра по совету старейшин принесут в жертву деревянному идолу. попечителю племени.

Новый день начался с безрадостных размышлений, с прежних тревог, опасений и страхов. В конце концов, полураздетый, на кровати, Подольский умозаключил, что в городе, в этом скопище пороков, никак нельзя жить человеку хрупкому и мечтательному, что такому человеку, чтобы сохранить душевную чистоту, спокойствие да и саму жизнь, необходимо удалиться в деревню, лучше всего – обратно в Бусыгино, на лоно природы, на зеленые луга, где пасутся козы, коровы и овцы; иначе – ах! – душа такого человека, прекрасная этрусская ваза, расколется на тысячу частей. Да, истинно, в городе кругом дым, смрад, зловоние, в нем нет ни голубого неба, ни почвы, ни прозрачных ручейков, ни тенистых рощ. Но чересчур много выпивох, которые ужасно дерутся, всегда находя к тому повод.

Так размышлял наш герой, хотя к обеду он выполз-таки из своей отшельнической конуры и бестрепетно направил стопы к ближайшей столовой; ибо народная мудрость гласит, что голод не тетка. Мало того: осмелев, Подольский обошел городские магазины и купил еды, чтобы спокойно поужинать у себя в комнате, без риска нарваться на пьяную компанию.

Однако вечером Кирюха (они дружили, несмотря на разность характеров), то ли без умысла, то ли намеренно, чтобы испытать слаонервного друга, предложил сходить в кафе и вместе отужинать. Подольский сильно затруднялся с ответом и все же, чтобы окончательно не пасть в глазах общества и в своих собственных, согласился: авось обойдется. Друзья вышли.

Всю дорогу Подольский был неразговорчив, угрюм и думал об естественном отборе. «В жизни, как и в природе, – думал он, – выживает сильнейший. Гибнут слабые деревца, лишённые света и крепких корней, и такой же отбор, такое же отсеиванье происходит и в обще-

стве. А раз так, уж лучше мне умереть за ненужностью». В горести он напоминал смиренную старушку, возвращающуюся с богомолья. Между тем Кирюха весело скалил свои лошадиные зубы, рассказывая, как вчера Мишка без стука ввалился в комнату Нади Окатовой, плюхнулся на кровать, а когда его попросили выйти, зарычал угрожающе; как он, Кирюха, схватил непочтительного гостя за шиворот и выкинул за дверь; и как, наконец, они подрались. Кирюха шутил, балагурил и в избыточной веселости поведал, какую чудесную ночь провел он с Надей, – ну, разумеется, ничего такого между ними не было, никакой пошлости: просто она залечивала его героические раны, и они целовались до утра.

– Я очутился в роли д`Артаньяна, – шумно восторгался Кирюха. – Ему ведь тоже здорово везло на красивейших женщин, особенно после того, как он заколол двух кардинальских солдафонов; да, женщины к нему валом валялись, и он рылся в них, как свинья в желудях. Что ни говори, а вчера у меня была ангельская ночь! Ох, уж эти девушки! Стоит украсить парой синяков, как они льнут к тебе, словно мухи к меду.

Кирюха заметил, что Подольский хмур и что рассказ не произвел ни малейшего впечатления. На вопрос, что с ним, Подольский ответил, что нездоров.

Кафе пустовало. Быстро отужинав, друзья молча двинулись обратно.

Чего Подольский опасался, то и произошло: они увидели нестройно поющую толпу пьяных парней. Парни шли, обнявшись и перегородив улицу, и горланили блатной романс. Это шествие пагубно повлияло на психику Подольского: он задрожал осиновым листом на ветру – не любил, ненавидел эту приклатненную пьянь. Сейчас кто-нибудь из них попросит закурить – и драки не миновать. Кирюха же казался спокоен; он только заметил, что мальчишки недурно веселятся. Но хуже всего, что и Мишка Шальнов, и Евланов были среди этих парней.

– Робя, по-моему, это наши знакомые пе-да-го-ги! – насмешливо прохрипел Мишка, и шеренга остановилась.

По лицу Кирюхи пробежала тень беспокойства. Он метнул взгляд на Подольского и быстро проговорил.

– Попали мы в переплет... Ты не трусь: сшибай вон того, шупленького, – и тягу... Я за тобой...

Подольский смотрел потерянными глазами.

Парни приближались медленно, развязно; их было восьмеро; впереди гориллой шел Мишка. Он молчал, но намеревался сначала произнести назидательную речь. Он был уже совсем близко, шел и пакостно ухмылялся, как вдруг грянулся об асфальт, сраженный мощным ударом Кирюхи. Кирюха бил первым и не раздумывая. Дальнейшее произошло в одну минуту. Подольский, подстрекаемый страхом, будто на крыльях, врезался во вражеский стан, сбил с ног белобрысого скуластого Евланова, который замешкался, доставая нож, и пустился наутек. Но, видя, что его никто не преследует, остановился. Кирюхе не удалось прорваться: окруженный, он раздавал удары направо и налево, но, не продержавшись и минуты в кругу, рухнул, как подкошенный. Подольский заметался, бросился было к нему, потом к телефонной будке. Распахнув дверцу, он увидел там какого-то старика; тот отчаянно замахал руками, и по его жестикуляции, брани и божбе Подольский понял, что в милицию уже сообщено. А когда подгулявшая

ватага гурьбой помчалась по тротуару и рассеялась в аллее, он подбежал к Кирюхе. Тот уже стоял на четвереньках, пытаясь подняться.

– Оставь – сам встану... – раздраженно сказал он. – Этот стервец был с ножом... Вот здесь жжет, посмотри...

Подольский расстегнул пальто и рубашку: на правом плече кровоточила небольшая рана, рубашка намокала в крови.

– Ерунда! – сказал он изменившимся голосом. – Пальто тебя спасло. Потерпи. Может, скорую помощь вызвать?..

Старик из телефонной будки торопился к ним.

– Кто тебя так? – спросил Подольский.

– Какая же сволочь из него вырастет, если он уже сейчас с ножом ходит.

– Про кого ты?

Словно по мановению волшебной палочки, на пустынной улице собирался народ.

Студенческие провода

На третьем курсе закончилась летняя сессия. Все разъехались – кто в стройотряд, кто на каникулы домой; общежитие пустело. Наконец и Викентьев купил билет и утром должен был выехать в Кесну; и родители, и друзья, с которыми так хотелось встретиться, ждали его еще неделю назад, а он до сих пор торчал в Логатове. И не без причины: ему хотелось перед отъездом повидаться с Еленой, но он не осмеливался ей позвонить. Наконец, когда билет был уже куплен, отступить было некуда; и он решился.

Вечерело. Дрожащей рукой он набрал номер телефона. Откашлялся и с напускной деловитостью осведомился:

– Алло! Лена дома?

Трубку, не поинтересовавшись, кто спрашивает, положили на стол, и хрипловатый насмешливый голос сказал: «Ленка, тебя». Викентьев догадался, что к телефону подходил Володя, ее брат. «Иду-у!» – донеслось откуда-то – должно быть, из кухни: знакомые победоносные интонации.

– Да, я слушаю.

– Леночка, это я...

– Ну!..

– Дело вот в чем. Сегодня ночью уезжает Федосов – ты ведь его помнишь: живет в одной комнате со мной... Так вот: он хотел бы тебя повидать напоследок; да и я...

– Постой: Федосов – это тот самый, белобрысый?..

– Да, да, тот самый. Будь добра, приезжай.

– Хорошо. Когда?

– К девяти часам. Ну, до свиданья, – сказал Викентьев и не удержался, чтобы не съюрдствовать: – Припадаю к твоим стопам...

– Хорошо, – повторила Елена и положила трубку.

Когда он вернулся в комнату, Федосов укладывал портфель: как у всякого студента, пожитков у него было немного.

– Ну что, она согласилась? – спросил он с наигранным равнодушием, заталкивая в портфель электробритву.

– Да, – ответил Викентьев. – И подозрительно быстро.

– Я не сомневался. – Федосов самодовольно улыбнулся заячьими губами. – Сказывается сила моего обаяния.

– Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, – предостерег Викентьев. – И потом: если бы все девушки были от тебя без ума, зачем бы тебе ехать через всю страну в Молдавию, в какой-то винодельческий совхоз, к одной-разъединственной зазнобе?

– У всякого действия свой резон. Я еду к родственникам, и зазноба тут не причем.

Прошел час. Из окна было видно, как во дворе мальчишки гоняют в футбол и четверо мужиков, рассевшись на зеленых скамейках, забивают козла в домино. Вот на балкон вышла женщина в переднике и стала развешивать белье. В дальнем углу кормились голуби, взлетая, когда к ним припрыгивал мяч или из открытого окна domовой кухни чья-то щедрая рука подбрасывала им хлебных крошек. Закатное солнце освещало двор, медно-красным пламенем вспыхивая в оконных стеклах. Вот въехало такси и из него, пятась, вылез туз (иначе не назовешь) – из тех, кто к пятидесяти годам еще полон здоровья, ведя размеренный образ жизни. Таксист развернул машину и, включив зеленую лампочку, выехал на магистраль. Та же женщина, но уже без передника, снова вышла на балкон и прокричала: «Гриша, иди ужинать: второй раз собирать не буду...» Гриша, вратарь, услышал призыв и, посоветовавшись с остальными игроками, пошел ужинать. Игра прекратилась.

Викентьев лег на кровать и вспомнил (откуда-то всплыло) ту неожиданную встречу. Она произошла в мае. Тогда он сильно скучал. Приближалась сессия. Он корпел над учебниками, дописывал курсовую работу, вставал рано и ложился поздно. Его мысли вращались вокруг прочитанного, и он радовался, когда осиливал все, что запланировал на день. Но иногда он срывался, и тогда казалось, что все, что он делает, никак не соотносится ни с его судьбой, ни вообще с жизнью, которая – вот она! – наполнена городским шумом, напоена запахом цветущей акации, овеяна буйным весенним ветром. Ему становилось душно в городе, книги валились из рук, и весна манила в поля. Он обувал кеды и шел за город. Минувя висячий мост через грязно-зеленую Логатовку, входил в загородный парк и брел по заглохшей тропинке к разбитой скамье. Обычно в такие минуты он избегал людей, потому что не отличался благодушием. Но с этой девушкой, которая показалась в конце пустынной аллеи, решил заговорить: он подумал, что его жизнь оттого и безвкусна, что он не завязывает новых знакомств. «Попытка – не пытка», – сказал он себе и, когда девушка поравнялась с ним, не нашел ничего лучшего, как спросить:

– Вы не скажете, который час?

И тут он узнал ее, и она его тоже.

Они разговорились, вспомнили, при каких обстоятельствах расстались два года назад, посмеялись. Познакомились они на вечеринке у Максимова по случаю Нового года. «Моя сестра Ленка, а это мой кореш с филологического Олег Викентьев», – небрежно представил их друг другу Володя Никифоров, в то время учившийся на первом курсе физмата. Танцевали. Потом Елена попросила Викентьева проводить ее. Викентьев согласился, но неохотно: кис, хандрил, легко раздражался. Они молча прошли метров двести, и тут он остановился и сказал: «Дальше я не пойду: у меня от вас аллергия как от мандаринов». – «А если со мной что случится?» – надменно спросила Елена. «Ничего с вами не случится: вы любого хулигана взнуз-

даете, как ручного пони», – съязвил Викентьев. Вот именно после этих слов он и получил звонкую оплеуху.

Они расстались и почти два года не виделись...

Оказалось, что Елена ездила навестить сестру в большое пригородное село Селезнево, а обратно решила пройти пешком через совхозные поля и парк. Она работала на швейной фабрике. В тот вечер он гранился и рассыпался блестками, как выставочный алмаз; его постное лицо одухотворилось, и Елена нашла, что он «занимателен». Его уже не нервировала ее мальчишеская резкая бесцеремонность; ее лукавыми глазами он восторгался; ее маленькую руку с короткими пухлыми детскими пальчиками и бородавкой он называл лотосом. Удесятились его силы, а сессию он сдал так удачно, что декан отечески обмолвился: «Вы, Викентьев, можете превосходно учиться». Серый мир порозовел: живительные силы любви...

– Ну, скоро она притащится, эта записная кокетка? – спросил Федосов, откладывая в сторону журнал и потягиваясь, – Вся в своего братца нервнобольного.

– Обещала быть в девять.

– Да ведь уже половина десятого! Тьфу ты, дура! Ей оказывают честь, а она...

– А вот и я! – распахнув дверь, воскликнула Елена. – Здравствуйте, мальчики! Как поживаете? Тут кого-то называли душой – не меня ли?

– Нет, что ты! Да у нас и язык не повернется сказать такое. – Федосов ничуть не был смущен и едва ли не расшаркивался: он, по мнению Викентьева, всегда становился приторным и ходульным с женщинами.

– Ну, что же вы приготовили, поджидая меня? Пересоленную яичницу или чай по-цыгански? Ох, дайте мне чаю по-цыгански!

Слышу звон бубенцов издалика,
Это тройки веселый разбег.
А вокруг расстелился широко
Белым саваном искристый снег.

Эксцентричная жизнерадостная натура, которая нравится сразу двоим парням и знает об этом, она пела и кружилась по комнате; казалось, сейчас она вскарабкается на стол и, попав ногой в яичницу, начнет отплясывать ча-ча-ча, сметая стаканы, вилки и тарелки. Они залюбовались ею и, когда она, подтанцовав к зеркалу, теребя кольчатую прядь у виска, задала им свой коронный вопрос: «Ну, как, я хорошенькая?» – они усердно закивали головами, как китайские болванчики.

– Ну, где же ваше соленье? Я хочу отведать его, – сказала она, садясь за стол и потрясая вилкой весьма воинственно: она действовала всегда с перебором и лихостью.

– Сударыня Елена Петровна, – сказал Викентьев, впадая в шутовство, чтобы подыграть ей, – продегустируйте сие блюдо и скажите решительно, быть нам порядочными мужьями или не быть.

– Кой черт! – произнесла она, проглотив кусочек. – Это же... это же невозможно есть! Какие же вы мужчины! Мужчины нынче фенили... фетини...

– Феминизируются.

– Да, феминизируются, то есть замещают женщин по хозяйству, а женщины мускулани..

– Манускуланизируются.

– Вот именно, мускулизируются. то есть ездят на машинах, курят табак и убивают мамонтов. А вы еще живете по старинке: яичницу – и ту не умеете приготовить как следует... А ты уже уезжаешь? – вдруг обратилась она к Федосову.

Федосов, польщенный, что им заинтересовались, заломался:

– Да вот, солнечную Молдавию решил навестить...

– У него там пассия, – бесцеремонно пояснил Викентьев, чтобы отбить у Елены всякую охоту интимничать с человеком, у которого есть девушка.

– Вот как! – удивилась она и оделила Федосова таким продолжительным и многозначительным взглядом, что Викентьев заревновал. Он понял, что лишь разрекламировал своего друга, что тот – в глазах Елены – подскочил в цене, возвысился, приобрел вес: ехать двое суток в поездах, издержать уйму денег, толкаться в очередях за билетами, недосыпать – и все это для того, чтобы увидеть любимую? – о, на такое способен только рыцарь и поэт. Викентьев впал в уныние; его раздражало, что Елена, видя, как он ходит из угла в угол с сигаретой в зубах, не спросит, что с ним стряслось. Она болтала с Федосовым, лишь изредка обращалась к Викентьеву и, хотя он неприветливо рычал, удовлетворялась ответами... Он понимал, что смешно обижаться, старался присоединиться к их беседе, но мнительность одерживала верх.. Федосов – в этом волоподобном человеке он не предполагал такой проницательности, – заметил его мучения и попытался сознательно стушеваться, но эта-то чуткая жалостливость к нему, к поверженному, бесила Викентьева еще сильнее. Он сел на кровать, заложил за спину подушку и, притворившись, будто читает, жадно прислушивался к их разговору, – так напроказивший наказанный мальчик прислушивается, прекратив плакать, что скажут о нем родители.

Федосов (в желчном восприятии Викентьева) распинаялся так, словно очаровывал пуританку. Солидные и умные слова, подкрепленные неторопливой жестикуляцией, казалось, восторгали Елену, а Викентьева злили: он-то знал, что Федосов способен часами молотить языком, умасляя собеседника и набивая себе цену, – тщеславный человек, герой если не для миллионов, то хоть для одного, если не навсегда, то хотя бы на час...

– Ты что же это, Викентий? – пропел серебряный голосок Елены, и ее ласковая рука легко взъерошила волосы Викентьева. – Невежливо читать книгу при даме, нетактично. Некрасиво...

– Во-первых, я не Викентий, – ответил он, почувствовав на сердце теплоту и нежность. – У меня другое имя, и зовут меня Олегом...

– О-ле-гом... – повторила она по-детски и рассмеялась. – Теперь запомню. – И ему показалось, что ее руки шевельнулись на коленях, чтобы снова обласкать его, но не посмели. Он вдруг совершенно ошастливел бог весть отчего. Он хохотал, рассказывал смешные байки и, сам того не замечая, принудил словоохотливого Федосова замолчать на целых полчаса: такая с ним произошла перемена от двух-трех ласковых дамских слов.

Федосов, скучая, еще раз перерыл содержимое портфеля и объявил, что пора идти. Викентьев и Елена решили проводить его до вокзала, и он принял эту услугу. Они вышли. Возбужденный, Викентьев запер комнату, положил ключ в карман, сбежал по лестнице и догнал их уже на улице. Решено было идти пешком.

Прошел дождь. По мокрому асфальту, в котором отражались уличные фонари, скользили, словно черные призраки, автомобили с притушенными фарами; редкие прохожие обозначались из мрака, располосованного, испятнанного бликами света, обозначались и таяли, оставив по себе, как память, обрывок разговора или огонек сигареты, шляпу, затенявшую лицо, или очки, блеснувшие, как глаз циклопа. Тополиные ветви, наклоненные над тротуаром, еще обрызгивали дождем, Викентьев притворно сердился и поругивался, Елена смеялась, забегала вперед, била по веткам зонтиком, вымокала сама и радовалась, если удавалось вымочить Викентьева.

Показалось длинное кирпичное здание вокзала, изукрашенное башенками, нишами и галереями. Сновали носильщики, толкая тележки, пассажиры толпились на перроне, скучающе прогуливались.

– Пойдите! – вскрикнул вдруг Федосов испуганно. – Я, кажется, забыл билет...

Он остановился и сунул руку вначале в один карман, потом в другой, потом в третий. Он озабоченно вывернул наизнанку все тринадцать карманов, но ничего, кроме пуговицы, горсти табаку, ломаных спичек и колоды карт, в них не оказалось.

– Сколько времени? – спросил он отрывисто и, узнав, что до отхода поезда двадцать минут, по-старушечьи всплеснул руками. – Не успеть! – возопил он и бросился к ближайшему такси. Видно было, как он длинно объясняется с таксистом, а тот, поигрывая ключиком, односложно отвечает точно брезгливый властелин на мольбы докучного попрошайки. То же повторилось и у других такси.

Словно избитый, едва волоча ноги, Федосов потащился на вокзал – к дежурному. Вскоре он оттуда вернулся с удрученным лицом.

– Перевешать всех таксистов! – буркнул он и сел на асфальт.

Викентьев и Елена напряженно следили за его действиями.

– Ты бы им накинул рублишко, – сказала Елена.

– А если у меня, Леночка, в кармане блоха на аркане, тогда что? – ядовито спросил Федосов.

– И ты в такую даль без денег поедешь?.. Давай – мы с Олегом скинемся?..

– Да есть у меня деньги, есть! Унижаться не хочется перед ними. Раньше, при царе еще, ваньку нанял, треснул ему по затылку – вперед, а эти... Они же поезда поджидают, заразы, и дальних пассажиров. Я лучше сбегая, – сказал он, расшнуровывая ботинок, снимая его и засовывая в портфель.

– Ты что, серьезно?

– Серьезно. Билет можно перекомпостировать на двухчасовой поезд. Берегите мой портфель, как зеницу ока.

Он засучил штанины, обнажив крепкие волосатые ноги, поправил ситцевую кепчонку с обломанным светозащитным козырьком и посмотрел на Елену печально и томно, как умирающий конь. И нехотя затрусил по шоссе.

Посмеиваясь, Викентьев и Елена пересекли привокзальную площадь и остановились под старыми тополями. Викентьев взял Елену за руку.

– Это, наверное, жутковатое зрелище: растрепанный, длинноволосый, босой, в одной рубашке... О нечистой силе вспоминается, – сказал он только для того, чтобы Елена забыла, что ее рука в его руке, чтобы она не почувствовала, что ее губы, близкие, нежные, как крылья красивой бабочки, искушают его. Он опять возбудился и нес околесицу, которая его опьяняла, представляясь изящным острословием. В девятиэтажном доме напротив горел свет в окне, и странно желтело посреди серой громадины только одно освещенное окно.

– «Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят», – сентиментально продекламировал Викентьев.

– Окно-то окном, но твоя рука...

– Леночка, пусть правая рука не ведает, что творит левая, – отпарировал он шутливо. – Я люблю тебя, Лена, ты веришь мне или нет?..

– Не верю, – кокетливо прошептала она, взъерошила его волосы быстрыми руками и задумчиво спросила: – Разве можно тебе не верить? Эти глаза не обманут, а этот носик, этот, можно сказать, рубильник – сама честность... – Она потрогала его нос. – Эх ты, Дон-Жуан! Поцелуй меня...

Викентьев поцеловал. Они веселились, как дети, смеялись и поминутно целовались. Викентьев позабыл о Федосове, о том, что сегодня утром, которое уже брезжило на холодном востоке, он и сам уезжает.

Он сунул руку в карман, чтобы достать сигареты, и застыл пораженный:

– Лена, а ключ-то от комнаты у меня... – сказал он и глупо рассмеялся. В восторге, что так обернулось дело, Елена запрыгала, захлопала в ладоши и залилась смехом.

– Однако, – сказал он, – как же Федосов попадет в комнату?

– Ну и пусть! Это будет урок разине...

Федосов бежал «быстрее лани». Влажный мокрый асфальт ласкал ступни ног, ночной воздух наполнял грудь, сердце билось мощно и ровно, гоняя кровь. Редкие встречные прохожие сторонились, а когда он пробежал мимо, оглядывались на него, недоумевая, откуда взялся этот слегка помешанный человек в таком виде и в такой час. Чтобы укрыться от любопытствующих взоров, Федосов перебежал с одной стороны улицы на другую, увеличивал скорость, завидев темный спасительный сквер, и ругался. «У, мещане! – думал он. – Увидят слегка раздетого человека – и уже бог знает что о нем думают. Разве я виноват, что человечество охраняет все житейские предрассудки. Не бегай босиком в городе, носи обувь, застегивайся на все пуговицы и не возбуждай толков поведением своим». На углу улиц Гоголя и Пушкина он заметил большую компанию; сворачивать было поздно, и он устремился вперед. Его встретили в гробовом молчании; были слышны только его босоногие шлепки и дыхание. «Лови его, ребята! Он из дурдома!» – вдруг крикнул кто-то, пронзительно засвистел и заулюлюкал. Но, обернувшись на бегу, он увидел, что ловить его никто не собирается. «Наверно, действительно похож на психа, – подумал он о себе. – До чего мы все закомплексованные! Вон в Америке студенты целыми гарнизонами бегают по улице в чем мать родила, да и то ничего: форма протеста. Кому какое до меня дело? Все мнительность проклятая! Может, сбавить темп? Нет, надо бежать, иначе не успею».

Показалось общежитие, погруженное в сон; только на первом этаже в фойе еще горел свет. Переведя дыхание, Федосов постучал в дверь, потом, подождав немного, – в окно. Заскрипели пружины старого дивана, на котором дремала вахтерша.

– Ну, кого там до сих пор леший носит? – спросил усталый старушечий голос, и дверь открылась. Федосов смело ступил через порог.

– Ах ты, батюшки! Да ты никак босой?

– Босой, тетя Паша, босой... Дайте-ка мне ключ: на поезд опаздываю, а билет в комнате забыл.

– Да как же это ты... – Тетя Паша с сокрушением рассматривала его ноги, забрызганные грязью, и грязные следы на полу.

– Ключ, говорю, дайте! – прорычал Федосов.

– Да ведь нету ключа-то, родимый.

– Как нету? А разве Викентьев не оставлял?

– Не оставлял. Сам посмотри – нету ключа.

– Да, правда, – хмуро согласился Федосов. – Неужели этот стервец его с собой унес? Ох, горе мне! Нет ли хоть какого-нибудь гвоздика, а?

Тетя Паша развела руками. Федосов молча устремился вверх по лестнице, подбежал к комнате, толкнул дверь. Но убедился, что она заперта. Гвоздик удалось вытащить, сняв стенгазету. Четверть часа возился Федосов возле двери, неоднократно пытался ее взломать,

но только нашумел и разбудил соседей, которые, заспанные и недовольные, высовывались из комнат, просили прекратить это безобразие. Наконец дверь открылась, и, схватив с тумбочки злополучный билет, Федосов опрометью выбежал на улицу: времени оставалось в обрез.

Этот бег был как кошмар. Федосов чувствовал, что вот-вот помешается; его разъяренный рык, его проклятия, которые он рассыпал, попадая в лужи, навели бы на постороннего человека подлинный ужас и мысль, что и цивилизованный город в ночной час полон мистических тайн. И те, кто видел, как Федосов в развевающейся белой рубашке, с разметавшимися волосами, с кровавыми безумными глазами, прыгал, как кенгуру, хрипя и подвывая, – те, должно быть, испытали смутное неисповедимое религиозное чувство.

Викентьеву стало жаль Федосова. Мечется, бедный, – представлял он, – и не знает, что предпринять, а может быть, лезет по водосточной трубе, пытаясь дотянуться до окна, срывается и падает с третьего этажа... Сломанный позвоночник... перебитые руки... немой упрек в глазах умирающего... Ах, Господи! А он в это время одурел от счастья...

– А ведь он скоро вернется, – сказала Елена, угадав его мысли. – Пойдем на вокзал, иначе он нас не найдет здесь.

Небо на востоке просветлело, холодные зеленоватые и сиреневые тона окрасили горизонт. Становилось свежо, и Викентьев пожертвовал Елене свой пиджак. Она поблагодарила его, и они опять целовались до изнеможения...

Приковылял Федосов, осунувшийся и усталый.

– Оказывается, Логатов совсем маленький городок: и часу не прошло... – сказал он, отер пот со лба и принялся обуваться; ноги его были грязны, словно он месил глину. – Но тебе, Олег, я этого не прощу!..

– Оздоровительный бег полезен, – сказала Елена.

Закомпостировав билет, они втроем бродили, пока не подошел поезд. Федосов сел в свой вагон, прокричал прощальные слова и уехал. А они побрели по предрассветным улицам утомленные, но счастливые...

Была ли это любовь? Кто знает!?

Но утром Викентьев сдал свой билет и никуда не поехал.

Крапивное семя

*Главному начальнику милиции города Логатова Дерихватову
Василию Петровичу от пенсионера Семеонова Афанасия Аристарховича*

Ж а л о б а.

Я к вам писал третьеводни, но, может, вы думаете, что старик чего-то напутал, и мер не принимаете. Топерь пишу подробнее про эту банду четырех в виде литературной записки. Прошу пришить ее к делу, когда заведете на них уголовное дело, а я выступлю свидетелем. Все это узнано мною, стоя под окнами ихней дачи, потому что рядышком у меня свой огородик и все слышно. Специально пишу с употреблением выражений ихнего дневника, который оне забыли на окошке, а я подобрал как вещественное доказательство на суде. В дневнике в этом все ученые слова, но за ними скрывается большая подоплека. Прошу удовлетворить мою просьбу, строго наказать виновников и оберечь мою безопасность, для чего выслать наряд милиции.

Семеонов А. А.

«Л и т е р а т у р н а я з а п и с к а

Оне собирались на даче, эти четверо молодых людей. Когда-то трое из них учились в Логатовском пединституте на учителей, на разных преподавателей, было бы чего преподавать... Физику и химию преподают, ботанику – цветочки там, завязи, тычинки, пестики да околоцветия. Мура, словом. От того, что лук к семейству лилейных относится, Земля с кругу не собьется. Это законно и съедобно. Ну, а если завтра линнеевскую систематику подточат пытливые умы и лук отнесут к семейству кишечнополостных, – тоже ничего страшного, приемлемо, преподаваемо. Математика – эта посложнее: цифирь, интегрирование, логарифмирование, тут надо мозгами шевелить, жонглировать пустотой, законспирированными символами. Ну, да человек ведь существо разумное, хотя тоже органическое, отряд приматов. А вот поди ж ты! Да. Так вот: двое-то из этих четверых были прежде математиками, то есть учились на физмате. Только один из них, Георгий Горностаев, бородатый крепыш, черноволосый такой, как негр, на третьем курсе, крутя свой ус, посеребренный преждевременной сединой, сказал как отрезал:

– Ну, братцы, на двадцать третьем году дал я маху – подал заявление в педагогический институт. Теперь мне двадцать шесть, а я трезв как стеклышко, трезв от мысли сеять знания в головы нынешних бесенят. Капитулирую. Сеять надо, да не там, не в эти белобрысы головы: надо сеять в толстостенные лбы и прошибать их. Мальчишкам все равно пока ученье не впрок. А вот тем, кто перебесился и крепко задумался...

– Вроде тебя!

– Ну да! Вроде меня... Вот таким-то жлобам, как я, и стоит вправить мозги, чтобы не мотались, как дерьмо в проруби, а дело делали. Решено: бросаю этот пансион благородных девиц, поступаю на философский факультет Московского университета. Буду учиться диалектике, а то что-то ни черта не понимаю – кто кого какой мастью кроет в нашем уютеньком благолепном мире.

Сказал он так, братцы вы мои, и уволился из вуза. Напрасно декан, напрасно ректор, напрасно из комсомола товарищи упрашивали его остаться. Хотя академический отпуск взять, что ли. Отдохнуть, развеяться. Заупрямился, и все тут. А ведь успевающий был студент. Видно, какое-то веяние навяло на него эту задумку. Ушел. И – ведь подлость какая! антипатриотизм какой! – потом сообщал друзьям, что, дескать, как только бросил институт, впервые за три года почувствовал, что жизнь хороша. Все равно, говорит, как одер, по кругу ходил да жернов мельничный крутил, а сам думал, какой он такой из себя, этот мясник, который придет тебя прирезать. А теперь, говорит, будто постромки лопнули, я взбрыкнул и поскакал на луг травку щипать, увидел, что божьи коровки есть и шершни есть, гнус всякий есть, волки есть, для которых надо копыто побойчей иметь, понял, что кобылица есть, водопой, что сено можно прямо из копны жрать, а потом ускакать от владельца, который за тобой с хворостиной и с бранью гонится... понял, говорит, черт побери, что жить можно, ориентируясь на три вещи, – на друзей, врагов и большую личную цель. А то ведь ходишь как пыльным мешком пристукнутый. Так и сказал, подлец, езуит, бездельник! На него государство деньги тратило, а он увильнул и доверия не оправдал. Вот они откудова, корни-то нашей недисциплинированности, вследствие чего труба мусоропровода засорилась, по причине чего гражданка Смирнова А. Б. сбрасывала мусор, а также нечистоты, среди которых хочется отметить также и куски государственного хлеба, что недопустимо, прямо с девятого этажа во двор, жильцы которого неоднократно писали о таковых ее действиях, вследствие и по причине чего она была 29 мая задержана органами народного контроля и дружинниками и доставлена в нетрезвом состоянии в медвытрезвитель, где и призналась... Да. Так вот. Я ведь, знаете, в бухгалтерии работал, а об этих-то молодых людях, которые на неверных позициях стоят, и хочу вам донести, уважаемая редакция. Вот, значит, какое дело. Этот Горностаев рассчитался и уехал в Ленинград. А там с пропиской туго. Он поискал-поискал работу, побранился-побранился да монтажником и устроился, с высшим-то образованием. Ну, это уж я вперед забегаю... Но разве так делается, я вас спрашиваю? Был бы учителем в школе, если бы закончил институт, – и все, и муха не гуди, так нет – понесло куда-то человека. Почто, я вас спрашиваю? Потому что нет на нынешнюю молодежь никакого уговону и никакой управы.

Топерь дальше. Второй тоже учился на физмате. Этот не ушел, этот взял академический отпуск. Звали его Сергей Михайлов. Вообще-то он тоже непутевый был человек. Он до того, как в институт поступить, учился в университете в Москве. А потом его оттуда выгнали. Он-то говорит, что ушел по состоянию здоровья, но ему верить нельзя, он врун и лжец. Он гирию сорокавосьмикилограммовую по десять раз выжимает и каждое утро с гантелями занимается, а сам из себя дородный и рослый, череп большой и выдающийся, а одевается неопрятно, весь костюм в сале, а на квартире у него, сказать просто, бардак, кавардак и содом с геморроем. Он полгода не проучился – к психам попал в больницу: доктор у него общий невроз нашел на разных почвах. Два месяца пролежал там, товарищи ему книги носили. А зачем книги неумному человеку? От книг весь вред и происходит. В этом в ихнем дневнике я нашел евонный библиотечный абанемент, дак чуть сам не рехнулся: тут у него и Камю, и какой-то Хайнд, и Плеханов с Евтушенкой, и астролябия какая-то, и о Фрейде чего-то, и дивиденды, которые на заграничную жизнь позарились (туда им и дорога: баба с возу – кобыле легче), и по высшей математике книжки разные, и авторы, каких и выговорить-то страшно. Не мудрено, что на разных почвах... Понял я, чем он себя губил, и совестно мне стало за всю нашу молодежь. Я про себя помню. Когда мы в первую империалистическую воевали около Винницы, я вылез однажды из блиндажа и устроился сверху на дернине спать: ночь-то была теплая. Утром просыпаюсь – в трех метрах от меня воронка от снаряда, а когда ложился – не было ее. Вот какие мы росли закаленные. А это что за молодежь: чуть приперло – и уже в психиатрической лечебнице. Ну

вот. Этот Михайлов-то, о котором речь веду, учился уже на пятом курсе и должен был государственные экзамены сдавать.

Остальные двое из этой четверки были немножко другие люди, но хрен редьки не сладче. Математики, те больше на частности внимание обращали. Например, там-то директор фабрики насидел крупную сумму, там-то мошенница нескольких человек надула на перепродаже дефицитных товаров, там-то восьмеро голых юношей и девушек спали вместе, ну и всякое такое прочее. Смак особый находили в выискивании таких вот гадостей. А те двое, о которых еще не рассказывал я, слушали обычно эту трепотню пригорюнившись, ругались, курили, а потом, расхोлившись, начинали нести совершенно уж завиральные идеи – обвиняли математиков в крохоборстве и прикладном эмпиризме. Это они называли обобщать факты. Вы, мол, черт знает какие сплетни собираете. Что, мол, черт побери, у вас бельма на глазах, что ли? Ведь ясно же, как божий день, что, мол, если где-то и есть энтузиазм, так это у мужиков, которые после восьми часов, когда все магазины закрыты, хотят достать водки. Ни больше, ни меньше, так и говорили. Говорят, а сами от злости даже заикаются и сплевывают. Вы, кричат, ретрограды, реформисты, постепеновцы, а от уступки до предательства один только шаг. У жизни, кричат, как у дальнобойной пушки, все выстрелы с последующей откаткой назад. Так что, если хотите прогресса, стреляйте зарядом повышенной взрывной силы. Спорят они так, спорят до хрипоты, а потом, если еще выпьют, и вообще начнут темно и витиевато говорить, словно опиума накурились.

Да. Так вот. Третий-то, Александр Вайгачев, учился в том же педагогическом институте, только на словесника. Вялый блондин, он все ходил и щупал свой нос картошкой. Послушав, он говорил обычно: «Вздор!» – а затем добавлял: «Вздор все!»

– Почему? – спрашивают его остальные.

– А вот почему, – говорит. – Курдский писатель, не помню фамилию, написал мудрую притчу. Как-то раз встретились два феллаха. Один и говорит другому: «Послушай, сосед, у меня трава не растет. Почему?» – «Потому, Абдулла, что у тебя осел не кастрирован. Поди кастрируй». Оскопил Абдулла осла, а трава не растет. Приходит он и говорит: «Послушай, сосед, а трава-то у меня не растет. Как быть?» – «Кретин ты, Абдулла. Надо было градусник разбить: смотри, он сорок градусов в тени показывает. Какая же трава при такой жаре!» Разбил Абдулла градусник, а трава не растет. По соседскому наущению Абдулла и на солнце плевал – не погасло, и Коран целиком прочел слева направо – не помогло. Так и умер Абдулла, а трава не растет.

– А в чем же смысл? – спрашивают его остальные.

– Да оросить надо было землю-то, хотя бы слезами, – отвечает, раздражаясь, этот Вайгачев.

Да, вот так-то и пророчествовал этот белобрысый, что твой додонский дуб. И ведь что странно-то, уважаемая редакция! Иду я это однажды по улице с супругой своей Фелицатой Эмпедокловной, иду и вдруг вижу незнакомого парня. Он, этот парень-то, ничего такого из себя, знаете, не представляет, мальчишка, молокосос, а в руках несет магнитофон, а на магнитофоне-то как раз эта притча и была записана. Ну, куда это годится! Народ-то ходит, слушает. Разве это дело, людей баснями кормить? Ведь не дело же? Ну вот. Я подхожу к этому парню и говорю: «Слушай, молодой гражданин, ты бы выключил эту сказку, а то нехорошо...»

А он на меня своими злыми глазищами зыркнул и прошипел, чисто змея подколотная: «Уйди к черту, старый филистер! Это эстрада». Жаль, что вас, товарищи милиционеры, близко не было, а то бы я ему показал, как оскорблять ветеранов войны и труда. Вот она, молодежь-то, какова, полюбуйте!»

Я еще о четвертом ни слова не сказал, об Андрее-то Ганине. Этот был хуже всех. Будь у меня в руках власть, я бы его колесовал немедленно и против совести не согрешил бы. Вот он какой, этот Ганин. Худющий, как стожар, волосья до плеч, всегда в грубом черном свитере и в каких-то невообразимых красных штанах, а кулаки у него по пуду. Милиция, и та его боится. И что удивительно, никогда пьян не бывает, а все из какого-то принципа дерется. Чуть увидит милиционера, сразу весь аж затрясется от злости. А еще интеллигент считается, работает художником в нашем Доме культуры. Про него говорят, что учился он в Ленинграде и работал там одно время, но не прижился. Он и есть вожак этой банды, он у них за главного. Эх, уважаемая редакция, вот пишу я вам и думаю, что вы, люди большие и умные, могли бы споспешествовать, так сказать, восстановлению спокойствия в нашем Логатове, славном своими революционными традициями. А то ведь совсем житья не стало от этой четверки. А чтобы вы совсем убедились, я сейчас расскажу, что они обычно делали там, на даче-то у Ганина. Мне, когда я в огороде копаясь, очень хорошо слышно, как они там глотку дерут.

Ввелятся, бывало, они вчетвером, шумной ватагой, окна откроют, и – это я сразу услышу – ихний любимый певец, хрипатый такой, песни начинает петь, и непристойные, и с намеками. Это они магнитофон включают. Сядут в кружок, слушают. Одну песню прослушают, выключат магнитофон и начинают обсуждать. А потом слышу – хохочут.

– Свежий анекдот, черт возьми, в самую точку! Обласкать бы того остроумца, который этим занимается, – говорит один из них.

– Ну, это не преминут сделать, – говорит другой.

– Устроить бы им всем Варфоломеевскую ночь, – говорит третий.

– Можно. Но только мы пока в роли гугенотов, – говорит четвертый.

Потом снова слушают своего хрипуна и читают какие-то стихи. Накурят так, что из окна синий дым валит. О чем только ни переговаривают – о поэзии, о Китае, о кооперации и монополизации, о панурговом стаде и ложементных каких-то в римском театре при императоре Прокрусте; о Риме вообще много говорят, только и слышно: Нерон, тиранья, Нерон, тиранья... Зачем копаются в истории, когда надо жить современностью? Я хоть старик, а это тоже понимаю. Фелицата Эмпедокловна вчера простояла весь день за коврами, поэтому суп пришлось готовить мне. Я налил в кастрюлю воды, поставил ее на газ, засыпал туда вермишелевого концентрата, очистил картофелину и добавил немножко маргарину, а сам сел читать «Литературную газету». Там было написано об этой... об акселерации и об нейтронной бомбе. Вот, думаю, чем надо интересоваться-то, а эти четверо – о Риме: «свободой Рим возрос, а рабством погублен!» Несообразные юноши, уважаемая редакция, насилие и экспроприация нашего тихого города! Крапивное, можно сказать, семя, произрастающее на плодородных полях нашей действительности. Я бы, может, не стал вам писать вторую докладную жалобу, но эти бандиты, наслушавшись своего хрипуна, ушли, а попутно повредили у нас с Фелицатой Эмпедокловной грядку огурцов, унесли 10 (десять) зажимов и бельевую веревку стоимостью 1 рубль 40 копеек: кого-нибудь хотят удавить. Прошу, уважаемая редакция, разобрать мою жалобу и наказать хули-

ганов, а мне убыток возместить. И прошу также обратить внимание на гражданку Смирнову А. Б., на ее несоветский образ жизни, а так как она моя соседка, то выселить ее. А вам, Василий Петрович, как начальнику милиции, должно быть стыдно, что вы до сих пор не принимаете мер по моему письму. Если и сейчас не примете, то я напишу в редакцию. Я туда вчера писал, да куда-то бумажка затерялась. Ну, ничего, я напишу еще раз – в Москву. Там разберутся.

К сему

*Семеонов Афанасий Аристархович,
заслуженный пенсионер».*

Скандалное происшествие в логатовском парке

Деревья в этом парке были низкорослые, подстриженные, но, наконец, удалось найти тополь, который Викентьеву чем-то понравился. Он ухватился за нижний сук, подтянулся и по обезьяньи вскарабкался по стволу. Шеркунов и Секушин, закулив, остались внизу, проводив его насмешливыми репликами. Эксцентрический эксперимент, предложенный Викентьевым, – прыгнуть с дерева с зонтиком, – заинтересовал их, но не настолько, чтобы рассеять мрачное настроение; у всех троих было сегодня какое-то непреодолимое желание – дерзить, скандалить, выламываться.

Осенний вечер, томный и теплый, опустился над городом; зажглись гирлянды огней. Влюбленные и старики, вышедшие подышать, неторопливо фланировали по дорожкам парка, но в этот уголок не забредали.

– По-моему, наш Олежек когда-нибудь повредится в уме: только ненормальному могло прийти в голову – прыгать с дерева, – сказал Шеркунов.

– А может, его после института в горный десант призовут, – сказал Секушин. – Да ты не волнуйся: с самой верхотуры он прыгать не станет. Не такой уж он дурак, чтобы калечиться: с четырех-пяти метров прыгнет, а выше – нет. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. По-французски то, что он делает, называется эпатаж.

У Шеркунова была гитара. Он взял два-три ленивых аккорда и пропел, подражая Высоцкому, с хрипотцой и надрывом:

Я теперь скупее стал в желаньях.
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне...

– Да, Есенин, Есенин... Боже мой, кого мы изучаем, кого будем преподавать! Этот Есенин, говорят, писал с орфографическими ошибками и без знаков пунктуации. Самородок. А по-моему, просто чувственный мальчишка...

– До которого, однако, тебе не подняться, – возразил Секушин, бросив окурочку так, что он, очертив дугу, светлячком затерялся в траве.

– Как знать, может, и поднимусь, – ответил Шеркунов мечтательно. – Может, меня похоронят где-нибудь в Кордильерах или на Памире...

– Или утопят, как пса, в вонючем карельском болоте.

– Э, не все ли равно, – согласился Шеркунов. – Если бы знал, где упаду, соломки бы подстелил.

Помолчали, поглядывая на тополь, но Викентьев не подавал признаков жизни.

– Ей-богу, весь сегодняшний вечер просто несносен, – сказал Секушин.

– Да, – механически повторил Шеркунов, – вечер сегодня несносен. Не с носом. Если бы он был с носом, он был бы более сносен. Кстати, ты читал «Нос» Гоголя?

– Каламбурист! – язвительно произнес Секушин. – Под статью некоторым современным поэтам!

– Под статью... Эх, под хорошую бы девочку подлечь...

Секушин слабо усмехнулся. Помолчали снова.

– Эй, внизу! – донеслось с тополя. – Приготовьтесь: сейчас буду прыгать, подыскиваю надежный сук. Отсюда открываются прекрасные виды! Что твой Париж! Площадь вся в пятнах, как пейзаж у Моне. В доме напротив вижу прелестную мордашку. На меня смотрит; нет, за занавеску спряталась. Третий этаж, второе окно справа... Слушайте, вьюноши, у меня есть идея: я сейчас прыгну, а потом пойдем к этой особе знакомиться. А?

– Ты сперва прыгни. Страшно небось?

– Ничуть.

– Смотри, ногу не сломай, ненормальный! – крикнул Шеркунов и услышал в ответ бесшабашную песенку:

Хорошо тому живется,
У кого одна нога:
Сапогов не много рвется,
И порточина одна!

Пока Викентьев во все горло распевал этот частушечный мотив, в конце аллеи показался милиционер. Он шел домой, своим порядком, в шинели, но уже отдежурив свое, и не обратил бы особого внимания на компанию, если бы Шеркунов, который почему-то терпеть не мог милицию (или делал вид, что это так, куражился), вдруг не ощутил сильнейшего желания досадить ему. В то самое время, когда милиционер поравнялся с ним, Шеркунов, обращаясь к Секушину, сказал, как бы продолжая прерванный разговор, но тоном, в котором сквозили враждебность и вызов:

Вдруг откуда ни возьмись —
мышь,
или как ее там, бишь, —
мышь.

Расчет оказался точным и грубым: милиционер понял, что налицо факт антиобщественного поведения; он остановился и грубо, как командир роты провинившемуся солдату перед строем, сказал:

– Чего орете?

– Кто орет? – живо, с невинным видом отозвался Шеркунов. Секушин усмехнулся и ожился; глаза его заблестели, как у восприимчивого зрителя в четвертом акте кровавой драмы.

– Вы орете. Зачем он туда забрался?

– Эй ты, парнище, зачем ты туда забрался? – повторил Шеркунов, задирая голову кверху. Издевательский смысл этих слов прозвучал так резко, что Секушин поежился.

– А кто спрашивает? – донеслось с тополя. – Милиция? О! Моя милиция меня бережет!

– Вам придется заплатить штраф за беспорядки в присутственном месте. Или пройти со мной в отделение, – сказал милиционер, благоразумно сдерживая гнев, и полез в карман за квитанцией.

– Штраф? – изумился Секушин. – Так уж сразу и штраф?..

Наступила пауза, и как нельзя более кстати сверху послышалось:

Чуть чего – дойдет до драки,
Тут легавые собаки
Лают, штраф велят платить...

Шеркунов дико расхохотался; нервы его затрепетали: игра принимала опасный оборот. По лицу милиционера было видно, что в нем боролись некоторая неслужебная растерянность и гнев человека, который не знает, оскорбиться или смолчать. Но растерянность его возросла до крайних пределов, когда с дерева, по-волчьи подвывая, свалился Викентьев. Он упал на траву, удачно отпружинил ногами, перекувырнулся через голову (причем зонтик, с которым он прыгал, отлетел далеко в сторону) и растянулся на земле. Невредимый и благодушный, не вставая, он пробасил (любил филологические игры):

Муж многохитростный, Трою отрывший из праха,
Шлиман, ответствуй, зачем ты в Аид ниспустился?

– Так вы хотите нас оштрафовать? – заговорил он уже прозой, по-прежнему лежа на земле и, тем самым демонстрируя наплевательское отношение к властям. – Этот номер не пройдет. Во-первых, мы студенты, а следовательно, неимущие. А во-вторых (тут Шеркунов и Секушин поняли, что Викентьева «повело»), вы читали Карла Маркса, том тридцать восьмой, страница триста шестьдесят вторая, семнадцатая строка сверху? Нет? Напрасно! Там и ниже говорится следующее: «Диалектический принцип, утвержденный в сознании человека, с течением времени позволяет ему развить свой ум и уравновесить свои чувства в такой мере, какой достаточно для того, чтобы быть самоуправляющейся системой. А это значит, что ему не нужны будут общественные няньки, часто злые и несправедливые, каковыми являются представители судов, тюрем, полиции». Вы имеете что-нибудь возразить Карлу Марксу? А если нет. То прошу вас, кто бы вы ни были, уважить слова вождя коммунистического движения в Европе, ныне покойного...

– Тебе бы в артисты идти, придурок! – раздражительно сказал милиционер Викентьеву.

– А и в самом деле, за что нас штрафовать? – вмешался Шеркунов. – Вы же видите, что мы трезвые, общественное спокойствие не нарушаем... Подумаешь, на дерево залез человек! А может, в нем обезьяньи инстинкты проснулись!

– Вы – циники, молодые люди! – внятно и глухо сказал милиционер, и в его строгих глазах, уже справившихся с гневом, засветилась неформальная печаль.

– А вы сами-то кто? – со всей горячностью своей натуры выкрикнул Секушин, до сих пор брюзгливо молчавший и порывавшийся увести приятелей от неминуемого столкновения. Он раздражался сегодня весь день, раздражался постепенно, и эта весомая реплика старого милиционера прорвала гнойник его злости: он считал, что оскорбление нанесено не только ему, не только им троим, но и всей молодежи на свете. – Вы утверждаете, что мы циники? А сами-то вы не цинично ли поступаете, сторожа нас? Разве это не вызов? Вы считаете, что оберегаете нас от преступников, но чем больше вас, тем крепче сковывается каждый наш шаг и тем чаще случаются преступления. Скажите, это не наглость – проедать наши хлеба и сковывать нашу волю? Вы же дармоеды! А преступления – это не ваш ли собственный хвост? Вот вы и играете с ним, как котят. Вы ведь прекрасно знаете, что вас всех ненавидят, а вы все-таки идете служить. Ради чего? Ради квартиры, ради куска хлеба? А разве не высший жизненный цинизм – продавать жизнь за кусок хлеба? Вы служите законности? А разве законность никогда не менялась, не меняется, не будет меняться? Сегодня в кодексе есть статья, запрещающая петь с деревьев, а завтра не будет. Что вы на это скажете? И если сегодня вы нас оштрафуете, где будет завтра смысл вашего поступка? Где будет смысл вашей службы, вашей жизни? Тьфу! Прошлогоднему снегу служите все вы...

– Ну, будет, будет. Успокойся, – сказал Шеркунов, положив руку на плечо Секушина. – Экий ты бешеный. Не надо зря метать бисер. Сами видите, товарищ милиционер, как вас по батюшке-то?..

– Александр Ильич.

– Александр Ильич, сами видите, какой же из него циник? Это я, правда, пересаливаю, и мысли иногда грязные. Упрек ваш не основателен. Вы просто по-человечески-то взгляните, без полномочий... Все мы под богом ходим...

– Что это ты в ханжество-то ударился? – весело спрыгивая с земли, спросил Викентьев. – Александр Ильич, они, кажется, правду говорят. В самом деле, отвлекитесь от своих обязанностей. Ну, вот чисто по-человечески рассудить. Вот, положим, разденьтесь вы сейчас догола и полезайте на дерево – хоть бы слово осуждения от нас услышите. Почему? Потому что это нам по-человечески нравится. Хорошо, решаем мы, хорошо, что люди разные: одни голые, другие одетые. Не правда ли? Ведь правда же? Ну, а если правда, Александр Ильич, то вот что я предлагаю... Вы ведь уже со службы домой возвращаетесь?..

– Да, шел домой.

– Ну вот, я угадал. И чувствую, что вы человек добрый и умный. Словом, мы просим у вас извинения. А чтобы совсем зла не помнить, у меня в портфеле есть бутылочка коньяку, походный стаканчик и...

– Нет, нет, что вы! Это уж слишком!

– Да почему же слишком? Вы уже не на службе, домой возвращаетесь, все благополучно, – отчего бы и не выпить?.. Ведь на четыре р ы л а и достанется-то по шкалику. Соглашайтесь, ей-богу, Александр Ильич! Вы человек умный, убеждения имеете и в отцы нам годитесь... – заискивал Викентьев, тщательно пряча иронию. – Выпьем, поговорим. Заодно и помириться с этим вот петухом. А?

– Да видите ли, ждут дома... – пробовал возражать Александр Ильич. Гнев его после принесенных извинений остыл, печаль миновала, и теперь, улещенный, он был и впрямь мягким добрым человеком, который охотно идет на неофициальные отношения с людьми.

– Да успеете домой-то! – сказал Шеркунов. – Может, вы нам как человек интересны... Случалось ведь, наверно, и позднее возвращаться? Были наверно разные истории, и крупных преступников лавливали? Александр Ильич, расскажите, это очень- очень- очень интересно. Вон там, неподалеку, скамеечка... пойдете туда. Там посидим, покурим, поговорим... Помните, как один герой Достоевского, Смердяков, высказался? Мол, с умным человеком и поговорить приятно...

Казалось, Шеркунов и Викентьев были искренни, уговорили, наконец, старого милиционера и, обступив его с боков, бережно повели к скамейке. Они безумолчно болтали; можно было подумать, что это отец и двое его сыновей возвращаются из бани. Секушин остался стоять посреди аллеи.

– Пойдем! – обернувшись, крикнул ему Викентьев.

– А ну вас всех! – отмахнулся Секушин. – Слизняки бесхребетные!

Его слова повисли в вечернем воздухе и развеялись, никого и ничего не всколыхнув, как и та горячая горячая речь, произнесенная перед старым милиционером, который из нее ничего не понял. А когда он увидел, что Шеркунов и Викентьев усаживаются на скамью бок о бок с милиционером и, судя по всему, готовятся слушать этого умудренного опытом человека, он плюнул с досады и отправился к себе в общежитие.

Подмастерье и ученица

Г. Б. Соболеву с воспоминаниями об идейных исканиях в юности

...берет мел и быстро пишет:

222

У края доски она начинает лепить крохотные циферки одну на другую, спускается ниже и ниже, мел крошится в ее раздраженной руке, лицо, дотоле миловидное, искажается гримасой Горгоны.

– А что это за фигура? – грозно спрашивает она, в ее голосе скрежещет металл.

Я чрезвычайно испуган, я в полуобмороке, но на сей-то раз чувствую, что отвечу правильно и в этом будет мое спасение.

– Геометрическая прогрессия, – отвечаю я.

И тут ее глаза потеплели, с каждым вздохом ко мне возвращаются силы, я рад – и испуган: испуган потому, что вдруг в мозгу проносится мысль: «А ведь я не прав! Это не прогрессия. Что же это? Почему именно двойки? Господи, да ведь это оценка моего ответа! Почему же она так легко поверила? Вот опять улыбается, и от бывшего гнева не осталось и следа».

Она говорит что-то. Я прислушиваюсь к нежному, как капель, звукам и вскоре постигаю их смысл. Она убеждает меня перейти учиться на физико-математический факультет. Теперь я понимаю, где я. Я поступил в университет, это первый семинар, со мной говорит доктор филологический наук. Она говорит, что я определенно склонен к математике и лишь по ошибке попал на их факультет; она говорит, почти упрасивает, умоляет меня перейти на физико-технический: там недобор.

– Но я люблю литературу! – в отчаянии восклицаю я; я боюсь, что поддамся на ее убедительные увещания.

– Садись! – Это она мне говорит. – Не расплеши молоко, оно у тебя некислое.

«Да ведь я его выпил», — хочу я ответить, но почему-то не решаюсь.

Все смеются. Только теперь, когда молоко выпито, все смеются, покатываются со смеху, готовые лопнуть. И она довольна своей шуткой, тихо подхихикивает всем. Мне стыдно, я раздавлен и тороплюсь уйти. Каково же мое смятение, когда мое место оказывается занятым: там сидит девушка и смеется, потешается надо мной. Я в коротком замешательстве, но потом вижу возле стены свободный стул, беру его и пристраиваюсь за кромкой стола рядом с девушкой, которая по-прежнему смеется.

– Ну, так что же это за фигура! – снова летит вопрос с кафедры. Смех обрывается, Все настороженно молчат. Молчу и я и не знаю, помилован или нет...

И тут я проснулся. Еще не открывая глаз, понял, что нелепости, угнетавшие меня, прекратились, я вернулся от сна к жизни. Приоткрыв глаза, буквально напоролся на испытующий взгляд Елены. Она, как девочка, застигнутая за шалостью, смутилась, потупилась, потом уронила голову на подушку.

– Ты что? – спросил я.

– Ничего, – ответила Елена помедлив. – Изучала твое лицо. Ты видел сон?

– Да. А ты не пробовала меня душить? Очень тяжелый сон приснился...

– Это было заметно: ты учащенно дышал.

– Странно: молоко, университет... чушь какая-то. Который час?

– Скоро пять.

Я потянулся к сигаретам, открыл форточку и закурил. С пятого этажа была видна пустынная мокрая улица, цепочка мерцающих фонарей по обеим ее сторонам; налево – уголок сада, скрытый утренними сумерками. В форточку пахло сыростью. Я сел на подоконнике, сторбившись и бессильно уронив руки.

– Счастлив я или нет? Кто знает?

– Счастлив. Ты твердил об этом, засыпая.

– Отчего же мне грустно...

– Потому что на улице зябко, одиноко, холодно...

– Зябко, одиноко, холодно... Да, это правда. Иди ко мне.

– Мне не хочется. Я отогрелась. Мне тепло.

– Я прошу.

Была ли в моем голосе мольба? Нет, усталость и слезы усталости. Елена почувствовала это, капризные ноты в моем голосе встревожили ее; она поднялась с постели и, ступая босыми ногами, прижалась остреньким плечом. Столько беспомощности и грусти было в этой ласке, столько надежд на мою мужественность, на мою верность, на меня как властителя и спасителя, что я чуть не заплакал. Я целовал ее и с каждым поцелуем опустошался.

– Все будет хорошо, все будет хорошо. Вот увидишь, все будет хорошо. Я всегда буду так же близок, как сегодня, буду так же любить тебя... Ах, если бы не наступало утро, если бы не видеть никого, если бы не идти на работу; если бы... Если бы вся жизнь была таким переворочением, этой сладкой болью. Я тебе признаюсь во всем... Помнишь, у нас был уговор быть всегда искренними? Помнишь? Так вот, слушай. Я тебя целую, но какой-то страх, какое-то смутное беспокойство... Мне кажется, что я не дал тебе всего, что мог бы дать, а ты молчишь и не требуешь... Мне кажется, ты в чем-то безмолвно обвиняешь меня, – но в чем же меня

можно обвинить? Так ли ты меня любишь, как прежде? Я совсем запутался: то мне кажется, что я оскорбил тебя или был недостаточно нежен; то мне кажется, что то, чего ты требуешь от меня, слишком великое, в нем вся моя ценность, и если я отдам это тебе, я сразу же умру...

– Я ничего не прошу, ты мнителен. В тебе бес беспокойства; ты даже когда счастлив, все равно брыкаешься: ах, скоро все рухнет, надо уходить, искать снова. Не выйдет из тебя добропорядочного семьянина, и я еще подумаю, прежде чем согласиться на твое предложение. Тебе достаточно малейшего импульса, чтобы отменить здоровое решение и начать куролесить. Ты – перекати-поле. Жизнь для тебя – вещь очень вкусная.

– Как твоя кожа. С ума сойти! Как близко от отчаяния до экстаза. Ты права: всегда что-то грызет; бросаю недоделав одно, начинаю другое, бросаю вновь, сажусь в поезд, выхожу на полустанке, иду в лес, строю шалаш, ужу рыбу, еду в Ленинград, дерусь с битниками, богохульствую и благословляю. Хочу, страстно хочу исправиться, стать добропорядочным – и не могу. Я как подогретый электрон, весь в нетерпении, сорваться и унести! И если сегодня я плакса, то завтра уйду от тебя.

– Не уйдешь, я это чувствую.

– Пари?

– Давай.

– По рукам! Завтра ты меня не увидишь. Пока сама не придешь ко мне, а это будет означать, что ты проиграла.

– Никогда!

– Придешь!

– В таком случае не целуй меня больше. Отпусти, одевайся и уходи.

– Прогоняешь?

– Да. Не терплю хвастунишек.

– Побуду до семи, а потом уйду. Я ведь не вернусь больше сюда, разве тебе не хочется, чтобы я задержался?

Сергей Аверьянов, как только родители переселились в новую квартиру и отвели ему комнату, оборвал розетку радио, заявив, что его психика достаточно расшатана и что поэтому он не намерен внимать радостным гимнам присяжных песнопевцев, да и для семьи было бы полезно сэкономить на плате за радиоточку. Был достигнут компромисс, и радиоприемник установили в другой комнате. «В новом доме надо жить по – новому», – резонно сказал как-то за обедом Аверьянов – младший и присовокупил, что неплохо бы прекратить подписку на «Аллигатора», мечущего перуны своих инвектив в длинноволосых юнцов и незадачливых сторожих. «Помилуй! – возразил Аверьянов-старший. – Ты нас оставляешь без духовной пищи». – «Ладно. В таком случае позвольте мне номера, как только вы их прочтете, препроводить в туалет: там нет бумаги и я, как раблезианский герой, чем только ни подтираюсь». –

«Это тоже не вполне разумно, – заметил отец сыну. – Во-первых, за обедом о таких вещах не говорят. А во-вторых, чем же мы развлечем гостей, буде они к нам заявятся?» – «Горе мне с твоей старой закваской! – сказал Аверьянов-младший. – Сразу видно, что жизнь, а тем более ее новые веяния вытекают из тебя, как вино из прохудившихся мехов. К примеру, почему ты ежедневно пичкаешь себя этими военачальническими мемуарами? Неужели растравление прежних ран доставляет удовольствие?» – «С таким же успехом я спросил бы тебя, почему ты вечно носишься с тощими книжонками, изданными десятитысячным тиражом, и вытверживаешь оттуда целые поэмы? Знаешь что: о вкусах...» – "...не спорят – подхватил Сергей, и на этом конфликт отцов и детей, в иных неблагополучных семьях переходящий в мордобитие, прекращался к вящему удовольствию обеих сторон.

Дмитрий Сергеевич Аверьянов предоставлял сыну относительную свободу, сопряженную с благожелательством. Поэтому, должно быть, Сергей ни разу не был замечен в серьезном проступке, – то есть до двадцатитрехлетнего возраста ни разу не испытывал желания напиться в д у п е л ь и освятить своим присутствием стены вытрезвителя; он сторонился уличных компаний, рискованных затей и притонов. Во многом остальном он был раскован. В школе иногда получал двойки по математике и синяки, преимущественно под глазом; курить начал в десятом классе; тогда же увлекся девушкой, увлекся настолько, что его мать Екатерина Ивановна встревожилась и принялась шпионить, однако Дмитрий Сергеевич вовремя на нее шикнул, и супруги поссорились только между собой, не впуская сына. «Помни, старуха, – резюмировал Дмитрий Сергеевич после словопрений, – что из него вырастет настоящий человек, если мы не собьем его с панталыку. Он не опустится, потому что не размазня, не солжет, потому что честен, да и нас еще прославит когда-нибудь, потому что талантлив. Не будь этой проклятой войны, я и сам доразвился бы до его уровня. Ты присмотришься к его художествам на стенах. Не ахти какие шедевры, сплошная романтика: скалы, бронтозавры, рододендроны, неандертальцы, каменный век, черт знает что, а между тем есть что-то в этих фантазиях. И эта девица будет за ним как за каменной стеной».

Насколько присущ был Аверьянову-старшему дар предвидения, следует из первой картины нашего повествования. Конечно, для светлых надежд было больше оснований, чем для тревог. Однако даже у отца, маскировавшего беспокойство, появились сомнения, особенно когда Сергей провалился на вступительных экзаменах в университет. Когда он возвратился из столицы, в семье создалась нервная обстановка, но потом все утешились тем, что ведь возможна и вторая попытка. Три года морской службы увеличили этот срок и повыветрили знания, полученные в школе. Но Сергей, оправдывая пророчества отца, не сдавался, поступил на работу в слесарный цех, а по вечерам запирался в комнате, забаррикадировавшись толстыми фолиантами. Настала страдная пора. Мать готовила кофе галлонами, буколические веселые обои посерели от табачного дыма, читательский билет испещрялся записями и требовал вкладыша через каждые три месяца, женились друзья, выпадали снега и дожди, совершались государственные перевороты, перемещались созвездия, знаменуя смену времен года, а Сергей, пожелтевший, как свечка, возжигаемая угоднику в день его именин, корпел над книгами, и это ему нравилось. Никогда прежде он не испытывал такого наслаждения. Значительно живее, чем когда рассказывала преподавательница, он представлял, как киевлян купали в реке и как Чернышевский томился в ссылке, как образуются фразеологизмы в русском и слитные артикли во французском языках. В порыве энтузиазма он схватился было даже за античность, но понял, что проглотить этот кус не сможет за недостатком времени. Он компенсировал это упущение детальностью изучения отечественной истории и литературы. Иногда, вняв настойчивым мольбам матери, он брал лыжи и уезжал за город, а возвращался неизменно усталым, как каменотес, пожирал ужин и погружался в богатырский сон.

Когда Аверьянов вернулся домой, было без четверти восемь. Отец делал зарядку под радио.

– А, гуляка явился! – сказал он добрым голосом человека, который с утра чувствует себя превосходно. – Синий как труп, мятый как простыня. Завтрак на столе. Возьми с собой учебник: считаешь в перерыве.

– Ну к черту! Опостылело все.

– А чего ты злишься? Сам себе устроил ночную смену. Тебе письмо из Франции.

– Где?

– На телевизоре.

Еще в средней школе класс, в котором учился Аверьянов, завязал переписку со школьниками из Бордо (в ту пору было модно), но дело вскоре затухло от перемены в международных настроениях и потому, что проводилось под бдительным контролем классной руководительницы. И только Сергей продолжал переписываться с Симоном: нашли общий язык. Симон, сухопарый, с тонкими брезгливыми чертами, прислал фотографию, на которой был снят в каком-то парке; налево – куча осенних листьев, приготовленных к сожжению, на заднем плане – силуэт уходящего мужчины в пальто с поднятым воротником; может быть, только что прошел дождь; фотография создавала настроение: молодой человек на распутье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.